

Владимир ЧЕРНОВ
Воронежская область



рассказ



Сентябрь простоял пасмурный, тёплый. Последнюю неделю лили дожди, лишь изредка пелена туч разрывалась и робко выглядывало солнце. Дождавшись наконец-то, когда дожди прекратятся, я и двое моих знакомых по старому уговору отправились в лес по грибы.

Рано утром, снарядившись для тихой охоты, вышел я в весёлом расположении духа из дома. Было прохладно, в лёгкой дымке вставало солнце, на западе темнели облака, но ветер дул в их сторону, и я надеялся, что дождя не будет. От леса я жил дальше всех и по пути заходил за знакомыми, такими же, как я, заядлыми грибниками.

Первый из них, Илья Петрович, был роста невысокого, моложавый, плотного телосложения, подполковник в отставке. Он всё время носил с собой фляжку коньяка, и в то утро застал я его на веранде, пропахшей воском, переливающего из бутылки во фляжку любимый им крепкий напиток. На цыпочках, чтобы не потревожить чуткий сон строгой жены, вышел он на улицу, приставив палец ко рту.

Затем мы зашли за Виктором Андреевичем. Встретила нас его супруга, красивая светловолосая женщина, как я слышал, пятая жена Виктора Андреевича, бывшая на много лет его моложе. Улыбнувшись, она попросила нас подождать на крыльце их большого дома с мансардой и ушла, всколыхнув чудесными локонами, оставив после

себя нежнейший аромат. Илья Петрович откровенно повёл головой ей вслед — хороша. Я же, признаться, впервые видя её так близко, заметил в красивом лице какой-то недостаток, некую малоприметную ущербность, как после давней травмы или что-то в этом роде.

Виктор Андреевич не заставил нас долго ждать. Он был высок, статен, совмещал учёное звание профессора и должность проректора в одном из воронежских вузов и проводил выходные на малой родине. Держа в руке неразлучную спутницу свою — трость, он пожелал нам здоровья с лёгким отрывисто-старомодным кивком, и мы двинулись в путь.

Спутники мои были намного старше меня, имели большой жизненный опыт, оба интереснейшие собеседники и рассказчики, незаурядные люди. Илья Петрович, к примеру, не прозябал на заслуженном отдыхе, а изучал теорию вероятности и высшую математику и учился играть на пианино — для бесконечного саморазвития, как сам он говорил. Профессор учил китайский язык в дополнение к английскому, немецкому и французскому, которыми он владел, на мой взгляд дилетанта, отменно. Честно говоря, я не знаю, что больше влекло меня в лес, возможность собирать грибы или общаться с этими умными людьми, бывшими, между прочим, одноклассниками и друзьями детства.

Поднялось солнце, дунул лёгкий ветерок. Заблестали пожелтевшие, теряющие листву берёзы на опушке леса, похожие на одетых в лоскутное тряпье согбенных бродяжек на паперти тёмно-зелёного сосняка. Одиноким старым клён блаженно побрякивал веригами крылаток.

Лес начинался на песчаной возвышенности, поросшей редкой кряжистой сосной. Дальше шёл спуск, сосна росла гуще, появился полунагой боярышник. Это место я хорошо знал. Здесь начиналось царство белого гриба. Тёмно-бурые, красновато-коричневые с фиолетовым оттенком шляпки то тут, то там стали всплывать из травы.

Илья Петрович присвистнул от радости.

— Самый лучший гриб, — выдал он. — Было время, по сорок рублей сушеный принимали, в заготконторе. Для ресторанов московских, а мясо тогда рубль шестьдесят стоило. Отец мой сдавал. Пальто мне, помню, хорошее купил.

Мы с Виктором Андреевичем, увлечённые сбором, отходили от Ильи Петровича всё дальше, и он замолчал, нагнувшись к земле.

Собирали грибы увлечённо. Ветра в лесу не было, стояла тишина, лишь изредка прерываемая криком неизвестной птицы. Сквозь кроны пробивалось солнце, плетя светом объёмные кружева. Барбарис разрастался местами в огромные куртины, пространство между соснами краснело от обилия ягод. В лесу было тихо и прохладно, прекрасно, как в храме.

Колонии грибов, богатые и хорошо заметные, искать не приходилось. Набрели посторонние мысли. Я, видя умиротворённую, скудеющую красоту леса, вспомнил красавицу жену Виктора Андреевича и, взглядом найдя его самого, стал следить за ним. Из всех выходцев нашего села достиг он самых высоких человеческих вершин. Был он предметом зависти и гордости земляков. Его частые заграничные командировки, нескрываемое богатство, высокая должность, большие научные достижения вызывали трепет у односельчан; он, не стесняясь, с непонятной землякам гордостью называл себя «ляоновским», по простонародному названию нашего села. Его ставили в пример детям. Жизнь его считалась удачной, некоторыми приравнивалась судьба его к эталону счастья. Никто не обращал внимание на его бездетность и на то, что из четырёх предыдущих жён одна повесилась, одну, спившуюся, он бросил, две бросили его.

Я следил за ним. Двигался он плавно, наслаждаясь каждым своим движением. Эта плавность шла его осанистой фигуре и гармонично, даже излишне картинно соответствовала профессорскому сану. Он улыбался сам себе, находясь в просторных от тихого уединения мыслях.

Обнаружив гриб, он, побрякивая, садился на корточках, аккуратно, словно имея дело с драгоценностью, срезал раскладным ножичком грибочек и, приворошив траву и листья, скрывая грибницу, вставал. Он каждый гриб долго вертел в руках, рассматривая его на солнце, и только потом, улыбаясь как дитя, укладывал бережно находку в плетёную корзину.

Часа за три заполнили мы всё, что взяли с собой под грибы. Илья Петрович даже снял подштанники и, завязав штанины, наполнил получившийся таким образом мешок. Мы смеялись над тугими ногами, которые Илья Петрович потешно переставлял.

День стоял чудесный. Из леса уходить не хотелось, и мы решили пообедать тут. Нашли небольшой бугорок, покрытый старой земляникой, удобно расположились и с жадностью, возможной только на природе, приступили к трапезе. Илья Петрович угощал коньяком.

Стало тепло, на бугорок, прямо на нас светило солнце. Коньяк разогнал кровь. Потянуло на дружескую беседу, захотелось душевной близости.

— Хорошо. Хорошо, — с блаженством повторял Виктор Андреевич.

— Сейчас запою, — улыбнулся Илья Петрович.

— Благодать. — Профессор и сам готов был затянуть застольную побратимскую русскую песню. — Сколько я в лесу не был? Это же с ума сойти можно. Я же в лесном институте преподаю. Стыдно, ой, стыдно.

— И все мы дети природы. И мы без неё никто, — тягуче, с наслаждением произнёс Илья Петрович.

— Погряз в этих бумагах. Доклады, диссертации, лекции. Всё бумага. Проректор лесного вуза, а в лесу тысячу лет не был.

— На речке когда купался, Виктор Андреевич? — спросил Илья Петрович.

— Что ты, какая речка, — отмахнулся профессор. — Бумаги, бумаги. Всё бумага. Текст и больше ничего. Вся жизнь — набор букв. Всё придумано. А тут хоть настоящее.

Он лёг навзничь. Солнце гипсом облекло ему лицо, и лицо стало как слепок, умиротворённое, отрешённое.

— А природа без нас как была, так и останется. Мы этап, краткий и незримый. Несуразный, — философствовал Илья Петрович. — И всё это будет стоять без нас. И сосны вот эти... Красота.

Я тоже лёг, подстелив под спину снятую куртку. Над головой в вечном братском, недоступном человеку рукопожатии стояли сосны. Светло-зелёные кроны калило солнце. Блики играли на ветвях в прятки.

Меня разморило. Подложив руки под голову и закрыв глаза, я готов был слушать и слушать. В шею что-то кольнуло. Через некоторое время начался нестерпимый зуд. Потрогав болезненное место, я нашупал большую шишку и попросил Илью Петровича посмотреть, что там такое.

— Ну-ка, ну-ка, — Илья Петрович силился разглядеть болезненное место и почти касался носом моей шеи. — Похоже, что клещ. Да, точно, клещ.

— Дайте мне посмотреть, — Виктор Андреевич приблизился ко мне и тут же успокоил: — Нет-нет, какой же это клещ? Овод, может, или комар укусил. Это точно не клещ.

— Как же не клещ, он самый, — Илья Петрович не унимался, придерживаясь своей догадки. — Видишь, кожа покраснела в месте укуса, что-то там торчит.

— При чём тут покраснело? Торчит. Может, это пчела и жало торчит? Не клещ это, я вам говорю, — парировал Виктор Андреевич со знанием дела и, уже обращаясь ко мне, полный уверенности, сказал: — не клещ, я точно знаю. Я этой нечисти в своё время насмотрелся, не дай Бог. Это ерунда, не беспокойся. Пчела, скорее всего. Попробуй выдавить жало, меньше яда попадёт, я вытащил бы, но не вижу без очков. Домой придём, у меня крем есть замечательный, помажешь, любой зуд как рукой снимает.

— Ты говоришь, как будто точно знаешь, — Илья Петрович обиделся немного опровержению своего мнения.

— Конечно, знаю. Я с этой нечистью на ты. Это мои, можно сказать, хорошие знакомые. — Виктор Андреевич, облокотившись на локоть, закурил сигарету. Затягивался и выпускал дым изо рта он неспешно, с наслаждением. Его спокойствие, отгоняющее дурные мысли, передалось и мне.

— Где ты таких друзей верных завёл? — спросил Илья Петрович.

Виктор Андреевич ответил не сразу. Задумчиво глядя прямо перед собой, он докурил, поплевал тщательно на дымящийся окурочок, разгрёб небольшую ямку, положил бережно в неё окурочок и закопал аккуратно, заворотив землю так, что могилки не стало видно. Только после этого он ответил.

— Знаком-знаком я с этой гадостью. Это я сейчас постарел, по кабинетам всё, по аудиториям. От кресла квадратный стал. В лесу два раза в год бываю. Раньше совсем не то было... После института и армии я пять лет таксатором в лесоустроительных партиях работал. Не скажу, что много где побывал, но Сибирь посмотрел. Один сезон, в шестьдесят пятом, таксировали мы в Красноярском крае...

Нетронутые кедрочки... Знаете ли, лес там совсем не тот, что здесь, в лесостепи. Есть и тут, конечно, своя прелесть, но уж если сравнивать, то у нас лесопарк скорее, а лес — это тайга. Что тут у нас? Одни культуры, пятьдесят, шестьдесят лет. Насаждения. Естественного давно уж нет почти ничего. А там лес, настоящий лес. Сосны, представьте себе, втроем вставали в обхват, руки не сцепишь. Да что там говорить. Богатство и глушь. Красота невероятная. С сопки смотришь: солнце встаёт тяжёлое, как золото, склоны голубеют; дух захватывает. Куда ни смотришь — леса, леса, конца и края нет. Все оттенки зелёного под ногами. Переливается всё, клубится, река вдали блестит. Слёзы на глазах от красоты...

Забросили нас к месту на вертолёте. Посёлок большой, народа с полтысячи. Дальше по реке пятьдесят километров до небольшой деревни. Разбили лагерь, как полагается. Приступили к работе. Набрали тут же рабочих. В нашей партии не пили. Начальник, Ивлев, такой порядок установил: кончил дело — гуляй смело, а до этого никаких. Быстро мы работали. Другие пропьются, прогуляются, неделя осталась, на глазок просчитали, сойдёт. У нас всё строго было. Местным не нравилось, конечно, а куда деваться, работы почти никакой, у нас хоть сезон и платили неплохо.

В той деревне к нам прикрепили лесника. Всю жизнь прожил тут, в тайге, из деревни за всю жизнь раз пять выбирался. Места знал отменно,

что днём, что ночью, в любое место мог пройти, не споткнётся ни разу.

Вообще, хрестоматийная личность. Леонтий Никитич, по фамилии Бортников, до сих пор помню. Невысокий, крепкий. Строгий был, неразговорчивый бирюк. Ходил всегда с ружьём. Трубка у него, борода, глаза чуть раскосые. Сибиряк. Появлялся всегда внезапно, что ни делаешь, раз, а он за спиной. Он нам здорово помогал. Карты у нас были, но так себе, крупные. А он как проводник. Хороший человек, но строгий, угрюмый всегда, исподлобья смотрит. С местными даже как-то заносчив был, большим уважением пользовался, государев всё-таки человек и охотник отменный. Мы его за спиной Квазимодо звали. Была у него дочь. — Виктор Андреевич, отвернувшись, прокашлялся в кулак. Продолжил он как будто другим голосом, проникновенно, точно вспомнил что-то, смутно волновавшее издавека, а теперь оказавшееся перед глазами. Допив коньяк, мы слушали со вниманием.

— Представьте себе, дочь его была блондинка. Подумать только, вокруг ни одного светловолосого человека, из местных, конечно. Отец чернявый, мать, я в доме был у них, фотографии видел, — матери её тогда уже в живых не было, — тоже чернявая. Половина деревни эвенки, те совсем не белые. А она белая откуда? Увидели мы её в первый раз и обомлели. Все до единого. Никто равнодушным не остался. Были и другие девушки в деревне. Но она... Белая кожа, голубые глаза, волосы светло-соломенные. Тонкая, лёгкая, как чудное наваждение. Славянка, самая натуральная. Сказочная. Как она туда попала? Начали думать, гадать. Про декабриста пра-пра-прадеда. Пошлятинки подкинули, о ловком туристе каком-то.

Всех она восхитила, это точно. И звали её Елена. Как в сказке.

Начали ухаживать. Но отец у неё — ох был, хуже чёртовой нянюшки. Ловко со всеми «женишками» расправлялся. Говорил редко, но метко. Всю охоту резко отбивал и надолго. И с порога мог спустить, мужик крепкий. Души он в дочери не чаял. Как мог доченьку оберегал. А что он мог? Мужик лесной, грубый. Кроме дочери одно только любил — тайгу. Ревновал её так же, как и дочь. Как будто мы и приехали только затем, чтобы отнять у него их обеих.

Да и если бы и не такой он был, ничего бы ни у кого по поводу Лены не вышло. Очень она была застенчива. Терялась при встречах, розовела как маленькая. Ей было тогда восемнадцать, а она со двора по отцову разрешению. Берёт её батюшка... Для кого?..

Я в партии был самый молодой... и неженатый. Шуточки пошли: «Давай подожжем тебя» и всякое такое. Я этого никогда не любил, а тогда прямо закипал весь. Так бы по шее и дал шутникам. Подшутят надо мной, — не первый раз такое бывало, — а я из кожи вон, как бесит меня. Раньше смеялся со всеми, компания мужская и шутки такие же.

Случилось что-то...

Начало меня к ней тянуть. Сглазили меня, наверное, своими «женим, женим». Как при похмелье — как будто она только его и может снять... Так меня крутило бывало. Спички кончились — лечу к ним, чуть не бегом бегу. У лесника мы все припасы хранили, рация наша у него была. Сами в палатках жили за деревней. Приду и стою. Заходи, что ты? Кто знает, зачем пришёл? Нет, не могу. Спрошу: «Леонтий Никитич дома?», а у самого сердце колотится, а вдруг дома, что скажу ему. Она ответит: «Нету отца». Я уйду. Камень с души — отца нет, и тут же напирает ещё тяжелее — отца нет, она одна, поговорить даже не сумел. И про спички забыл. А голос у неё... Ей под стать... Никаких изъянов в ней. Думаешь: не бывает так. У чёрной кошки хотя бы один белый волосок есть. Что она, ангел, что ли? Не видел я красивее никого. И сутками потом вспоминаю её: голос, движение руки, как к дому обернулась, когда говорила, что отца нет, лицо её. Вспоминаю, и жар по телу изнутри откуда-то...

С месяц мы отработали или около того. Быстро я к ней привязался. Однажды она с отцом пришла. К нам, в лес. У неё, как и у отца, ружьё через плечо, взгляд суровый, и всё равно диво. Увидел я её — и мурашки по телу. Синицын, балагур наш и хохмач, в бок меня локтем ткнул: «Если гора не идёт к Магомету...» А я красный как рак, в лес беги, прячься.

Раз пять с отцом приходила. Он проводником, и она с нами. Руки ей протягивают все, когда с камня на камень перепрыгнуть. Чуть ли не драка, если через воду перенести. Такое внимание, когда одна женщина среди десятка мужчин, только и бывает. Куда там? Сама, проворная, ловкая,

прыг-прыг по камням, как косуля. Перед обедом все как один ложки протягивают. Один я сижу как болван. Она смеётся и смущается и на отца боязливо смотрит.

При ней как мальчишки себя вели, право слово. Смешили. Друг над другом подшучивали.

Как будто привыкать она к нам стала со временем, как зверёк дикий, прелестный.

Как ей отец разрешал или она тайком убегала, но стала она к нам одна приходиться. Как-то остальные ребята разговаривали с ней. Шутили. Она больше всего интересовалась, откуда мы. Для неё больше всего интересно было, как живут люди вне посёлка. Слушает с таким волнением простые вещи: про многоэтажки, магазины, институты. Автобус и то для неё интересно. Не видела никогда. Откуда ей видеть? Не слышала даже. Это любопытство — как там? — её раскрепощало, но всё равно спрашивает, только когда отца нет поблизости, чтоб не слышал, что её интересует. Рассказывает ей кто-нибудь про город, а она — заметно, не скроешь — завидует, чуть не слёзы на глазах. К Большой земле её очень тянуло. Ничего удивительного. Деревню ни разу не покидала. Большинство женщин за всю жизнь из деревни не высовывались. И ей, видно, такая участь мерещилась. Она хотя бы по рассказам нашим хотела побывать в других краях. Видно было: очень она тосковала тут. Тесно ей в деревушке, в лесу этом. Не для тех краёв была её красота... Не там должна она была родиться...

Были у меня до этого девушки... Немало было... Умел я с женщинами общаться, не то чтобы в казанах ходил, но, бывало, завидовали мне ребята. А тут не знаю, что случилось. При ней глохну, немею, потею. Так быка забивают, ножичком маленьким в шею за рогами ткнут, он окаменеет, стоит, ноги растопырил, ждёт, когда горло перережут, смотрит только внимательно-внимательно. Так и я. Слова сказать не могу. Почему подойти боялся?.. Чего я боялся?.. Не знаю... Не знаю...

— Она хрупкая такая, — с улыбкой, как нечто воистину прекрасное, вспоминал Виктор Андреевич, — а стреляла отменно. И отдачей плечо ей не сильно откидывало. Я первый раз, когда её уговорили меткость показать, думал, что её с ног отдачей свалит. Нет... На бис стреляла. Шишки с верхушек пульей сбивала...

И в меня попала...

Смотрю только на неё, глаз отвести не могу. Клянусь себя, взгляд отвожу. А от неё на метр ничего нет, как будто она одна и есть только на свете. Куда ни поворачиваюсь, как ни встану, меня всё к ней разворачивает. Как будто нет ничего на земле, на что ещё смотреть можно.

И сам замечаю, что она на меня смотрит. Кожей чувствую. Повернусь, она раз, глаза отводит быстренько, смущается.

Так и работал. И с ней тяжело, а без неё ещё хуже, жду не дожусь, когда появится... Как мальчишка... Хотя мне и было тогда двадцать пять...

Отца боялся, что ли? Чего ещё?..

Всё же кое-как начал общаться с ней. Со страхом каким-то. И страх такой непонятный. Как будто что-то прекрасное, нетронутое, чистое боишься тронуть. Как свежевывающийся нетоптанный снег, не хочешь идти по нему. Что-то в этом роде, но сильнее, намного сильнее. Вроде по-хорошему всё, с чувствами. Чего хорошего бояться? Это же замечательно. Налаживай отношения. Вижу, и ей со мной поговорить охота. Может, потому, что не шутил я, серьёзно вёл себя, или потому, что видела моё смущенье перед ней и на равных ей легче было. Чаше общались, когда не было никого поблизости. Бог такие случаи давал. Давлю из себя слова. Всё она спрашивала, откуда я? Как там у нас люди живут? Даже во что одеваются девушки, спрашивала. Как будто я с другой планеты. Потом она, когда и много нас, на бивуаке или в лагере ко мне подходит, садится рядом. Я горю, разрываюсь. Ну ничего, думаю, привыкну. Только решительнее надо. Чего тут такого? Нравится — действуй.

А время-то летит. Несколько месяцев отработали. Уже сентябрь. Скоро зима, конец нашим работам.

У меня одно на уме: будет она моей. Не может быть другого. Не упущу. А упущу, жизни край.

Увезу её отсюда. К чёрту отца её. А нет, с нами поедет. Проживём. Сгинет она тут и я без неё.

Знаю, что нечего тянуть. Подойти, поговорить. Начистоту. Чистое чувство-то, чего же бояться? Хуже нет, когда что-нибудь важное до последнего дня дотянешь. А тут такое. Нет для меня ничего важнее.

Тут, как назло, в город ехать нужно. Работы наши к концу. А на следующую весну уже рубки отводить. Целлюлоза стране вот как нужна, тезисы Ленина печатать. Материалы в город

на камералку нужно срочно вести. Всё у нас впопыхах. И отправили кого же — меня, конечно. Дел мне на три дня. Опять до посёлка по реке, оттуда вертолётном.

Что делать? Мы люди подневольные. Думаю: вернусь и тогда уж точно всё Лене скажу или конец жизни моей на этом свете.

Гружусь я в лодку, на пристаньке маленькой никого. День пасмурный. Слышу, меня позвали. Обернулся. Лена стоит. Как солнце. Я растерялся, и она тоже смущена. Догадался — ей надо что-то от меня. Как ушат холодной воды на голову: ждёт, что я ей сейчас скажу самое главное, то, что важнее всего и для меня, и для неё — в любви признаюсь.

Говори, дурак. Скажи только. Не делай ничего, звёзд с неба не доставай, время не останавливай, реки вспять не разворачивай, войны не прекращай. Просто скажи несколько слов.

Нет...

Стою как нехристь перед иконой.

Она сама мне говорит: «Привезите мне, пожалуйста, губную помаду и духи какие-нибудь». Покраснела, как солнце на закате. Я: «Конечно, конечно». Три рубля её взял. «Мне больше не к кому обратиться. Отцу только не говорите».

Я аж потянулся весь к ней. Обнять, прижать к себе захотел.

Мне больше не к кому обратиться — как солнечный удар.

Чего же я тогда боялся так? Если бы знать... Если бы знать...

«Хорошо, Лена, куплю», — сказал только, сел в лодку и уплыл.

Уплывал на три дня, а оказалось, на три недели. Не хватало людей, пришлось помогать на базе. Срочные дела.

Как я эти три недели существовал, не знаю. Работал как-то. Бумажки, бумажечки эти... Расчёты, подсчёты, выводы, оценки.

То подъём такой, на крыльях летаю — ну всё, решено: вернусь, сделаю предложение — окончательно и бесповоротно. Я, когда в лодке плыл ещё, решил так. Отплываю, смотреть назад не могу. Чуть не плачу от злости на себя. И чувствую, чувствую взгляд её. До самого поворота русла, и потом, когда исчез из виду, — знаю — смотрела мне вслед. О чём она тогда думала? Боже мой!

Порадуюсь, и грусть нападёт. А вдруг опять

сказать ничего не смогу, опять струшу? Нет, нет. Стисну кулаки. Должен. Я должен. Другие горы сворачивают, из-под земли достают, у лучших друзей отбивают. А моё счастье вот оно. Вот оно, моё счастье, протяни руку.

Не только помаду с духами Лене купил (их, самые дорогие, какие мог, через друзей по почте из Москвы достал), но и кольцо золотое. В долги влез, и бог с ними. Отцу её ружьё купил, новую марку «ИЖа» — вышла только тогда.

Всё купил, всё обдумал, успокоился почти, жду возвращения.

Виктор Андреевич прервался, взял пластиковую бутылку с водой, с жадностью начал пить. Рука его тряслась.

Появились облака. Солнце терялось, ветер проник в лес, становилось прохладно.

Напившись, после недолгой паузы Виктор Андреевич продолжил:

— Два дня мне оставалось до возвращения... Вечером шёл в общежитие. Думал, как Лена волнуется сейчас, переживает: уплыли мои денюжки... Уж мне чуть-чуть до входа в общежитие осталось, три шага, вижу — её отец, собственной персоной. Идёт, спешит куда-то, ни разу не видел, чтобы он так спешил. Откуда он тут, в городе? Тысяча вёрст до его деревни. Что случилось?

Подошёл, поздоровался. Не узнал он меня, чуть в сторону на ходу не оттолкнул.

Я говорю: «Леонтий Никитич, какими судьбами в городе?»

Он смотрит на меня так, как будто слепой, не глаза у него, а бельма. Пьяный, что ли? Остановил, а сам думаю: обознался, извиняться уже хотел, а он мне: «А, Витя, — узнал. — Беда у меня, Витя». Меня так и передёрнуло.

Угадал я!

«Леночка в больнице», — говорит, а у самого челюсть трясётся.

«Что?»

«Клещ укусил. Энцефалитный. У вас, в лагере, была. В больнице она. Тут, в четвёртой палате. Всё лицо ей покорежило», — и заплакал...

Пошёл я с ним, конечно. Ничего не помню, как, что, как шёл, где больница? Как кукла. Одно помню, в палату заглянул... увидел... не лицо, а маска... всю красоту стёрло... Ужасное зрелище. Паралич. Как будто не она... Как не человек...

Зачем ходил смотреть?

На другой день заявление на стол, по собствен-

ному, по семейным обстоятельствам, и умотал, первым же рейсом. Всё бросил.

Убежал. Трус.

Ночью, как из больницы пришёл, застрелиться хотел. Из «ИЖа», который отцу её купил. Тоже не смог. Побоялся.

Чего боялся?.. Всё было бы по-другому... Всё...

Виктор Андреевич замолчал. Он сидел потемневший, осунувшийся, постаревший сразу на несколько лет и смотрел вдаль, где меж стволов просвечивалась поляна недавней вырубки. Сквозь кроны синело. Наползали дождевые тучи.

— Вот так, вот так... — слабо произнёс Виктор Андреевич и стал перечислять с пренебрежением: — Ушёл из таксаторов, поступил в аспирантуру, защитил кандидатскую, защитил докторскую, стал проректором... И всё...

— Да. Да, — задумчиво говорил о чём-то своём Илья Петрович, сидя к профессору спиной, обхватив колени.

Сильно зашумел ветер. Где-то треснул, обломившись, сук.

Мы молча, как по одной команде, встали и, быстро собравшись, пошли домой.

Ветер усиливался. Приближался дождь. Вокруг потемнело, как вечером, хотя было чуть за полдень.

По дороге у меня возникло вдруг жгучее желание ещё раз взглянуть на супругу Виктора Андреевича. Никак я не мог вспомнить её лица, которое видел всего лишь пять часов назад. Подходя к дому профессора, такая возможность появилась. Виктор Андреевич вспомнил о мази, обещанной мне, и, поднявшись на

крыльцо, открыв дверь, крикнул:

— Тома! Томочка, я вернулся. Ты меня слышишь?

— Молодец, — ответил женский голос.

— Томочка, вынеси, пожалуйста, крем от зуда, у меня на столике, где все лекарства.

— Я не могу. Сам что, не можешь? — с раздражением ответила супруга профессора.

— Я обут. Мне тяжело разуваться.

— Если так надо, разуешься. Я читаю.

Тяжело задышав, профессор принялся снимать сапоги. Вид его был смущённый, он стыдился услышанного мной. Я попытался было отговорить его, мол, крем мне не нужен, но профессор, процедив «ничего, ничего», растерянно улыбаясь, вошёл в дом. Через минуту он вышел. На лице его была та же извиняющаяся стыдливая улыбка.

— Ничего не осталось. Забыл, что кончился, — сказал он.

Он держал выдавленный, свёрнутый тюбик.

— Но вы не бойтесь, это не клещ. Я знаю точно. Овод или пчела. Клеща я знаю, — с участием говорил он, переживая за меня и за свою неловкость.

— Да уже почти и не чешется, — сказал я. — Я пойду. До свидания, Виктор Андреевич. А то сейчас дождь начнётся.

Он вскинул руку на прощанье.

Ощущая первые холодные капли, я спешил домой, и меня всё мучил вопрос: что он сделал с кольцом, которое купил Лене, с губной помадой — выбросил или подарил той, которой они не предназначались?

□

Владимир ЧЕРНОВ

родился в 1981 г. в селе Хреновом

Бобровского района Воронежской области.

Окончил Воронежскую государственную лесотехническую академию.

Публиковался в журнале «Нева»,

в сборнике участников совещания

молодых литераторов Воронежского края «Первая вежа».

Лауреат конкурса «Северная звезда».

